

Постучали и вошли, как всегда, не дожидаясь ответа. Она не знала, так никогда и не узнала, должна ли была отвечать. Никто ей этого не объяснил. Но поскольку входили всегда, не дожидаясь ответа, то она решила, что отвечать не обязательно, а может быть даже и не разрешается. Вошли втроем, но говорил только Главный. Двое других стояли за его спиной несколько поодаль. Так что она видела только половину головы и туловища левого и правую ногу и куаф правого. Нога была в красном, а куаф зеленым. Нога и куаф принадлежали шуту. Подумала: как у Чибиса. У нее в клетке на окне жил попугай Чибис. Точнее Чибис Второй. Красная нога переминалась с пятки на носок, и круглая пряжка с бубенчиком на высокой шутовской туфле поблескивала то так, то эдак. Солнечный зайчик егозил по стене то взад, то вперед. Заметила, но головы не повернула. Этого не разрешалось, это она знала. Это было то, что она знала наверное. Слов Главного сначала слушать не стала, а только с середины, а там уже пошло перечисление вещей, которые она могла взять с собой. О попугае не было ни слова. Значит, его брать с собой не разрешалось. Только пять парадных туалетов, из которых все пять черных. И Главный тоже был в черном. Только шут был в своем шутовском: красном и зеленом, попугайном.

Поняла, что уезжает. Отсылают. Няня рядом задышала. Ей тоже захотелось задышать, но она знала, что нельзя. Главный замолчал и поправил ленту, накрест перечеркивавшую его квадратную грудь. Она вспомнила, что он точно так же поправил ленту, когда объявил ей о ее совершеннолетию. Тогда это было после прихода врача, когда ее осматривали. Главный кашлянул. Трое повернулись на месте и вышли. Няня снова задышала, уже вслух и, подскочив к ней сбоку, стала ворошить руками юбку. Няня была толстая, коротко-рукая, зачем она так ворошила? Лицо у нее было мокрое, некрасивое. Няню в числе того, что можно было взять с собой, не назвали. Она значит оставалась с Чибисом. Это она догадалась.

— Ты его, главное, не забывай поить.

— Ох, голубушка моя, Ивонна.

Няня снова пристроилась сбоку ворошить руками юбку. Потом обе руки себе закинула на грудь и стала кашлять.

— Не кашляй, няня.

Ей тоже хотелось кашлять, но было нельзя.

Только няня говорила ей Ивонна. Она не знала, было ли то именем или прозвищем, данным ей няней. Никто другой так ее не звал. И вообще никак никто не звал. Ее никогда никуда не звали, а только говорили: Ваше Достоинство или Ваше Девичество. Она понимала, что это о ней, про нее, но никогда не отвечала — я. А только говорила — она. Она услышала. Она поняла. Она будет.

В некоторые дни, когда ее наряжали по полному параду, когда замок открывали и впускали других, не тех, к кому она привыкла, и кто жил с ней внутри,

или когда ее выносили на помосте из собора, сидящей в кресле и привязанной к нему, и показывали крестьянам и горожанам, тогда ее называли целым длинным списком, который она никогда не дослушивала до конца. Да и начало тоже слушала едва.

— Ивонна, голубка.

В этот день ее больше не беспокоили.

На другой день с утра пришли три ее арапки. Стали раздевать. Раздевали долго, потому что утром няня одела по полному. Ей, видно, не сказали. Или сказали, но не то. Снимали медленно. Никто не спешил. Одну за другой все три прозрачных верхних накидки, воротник, доходивший до подбородка, расшнуровали корсаж, рубашку через голову. Рукава отдельно. Юбку, которую сверху. Потом снизу другую, короткую. Туфли. Чулки. Она стояла теперь без всего. Босыми ступнями на шершавых керамических плитках. Будут мыть. Но в туалетную не повели. И журчанья оттуда не слышалось. Ничто не плескалось. Не наполнялось, не брызгалось и не пахло серым мылом, сваренным из пепла, которое хотелось полизать, но не разрешалось, и которое шершаво скребло до красноты. Нет, мыть не будут. Зачем же тогда сняли кольца с пальцев? Серьга справа не поддавалась. Воздух трогал кожу. Она заметила сверху свои розовые сосцы и под ними прямо вниз — длинные белые ноги. Но смотреть туда не разрешалось. Она стала смотреть вперед. Перетаптывалась, переминалась едва заметно. Это она умела, потому что часто приходилось подолгу стоять и ждать, одетой или раздетой. Это было то, что она делала, умела делать : стоять и ждать или сидеть и ждать. И даже не ждать, а все же стоять. Или сидеть. И вот так смотреть вперед.

Смотреть именно перед собой, по оси и по прямому горизонту. Или делать вид. Главное, чтобы между глазами и спиной был прямой угол. Так ее научили. И не хмурить брови, не собирать лицо вокруг губ, но и не растягивать. Не шевелить лицом совершенно. Это она умела. Еще она умела так быстро изнутри провести языком по зубам, чтобы никто не заметил. А может они замечали. Но ничего не говорили.

Одна из трех арапок подставила ей сзади спину, и она на нее оперлась. Никто не знал, можно ли это, но они иногда так делали, когда ждали, и когда никто не видел. А другая арапка стала ей закреплять волосы к затылку, чтоб не ерзали по спине. Волосы были длинные, щекотные. Что с ней сегодня будут делать? Арапки разговаривали на своем языке. Она ничего не понимала. Они смеялись между собой. Им было можно. Всем было можно дергать щеками и пыхтеть, и часто дышать, а ей нельзя. Она была другой расы, другой крови. Одна из трех вдруг к ней наклонилась и взяла в свой большой рот ее розовый сосок. Она испугалась, что сейчас откусит. Но та сверкнула черным глазом и выплюнула.

Ногам стало холодно.

Постучали, вошли. Это был доктор. Она его знала. Он был старый и толстый, как няня. Он осматривал ее тогда, когда у нее в первый раз заболел низ, и потекла кровь между ногами. Он ее тогда посадил, открыл ноги и все там трогал и смотрел. Ей было больно от его толстых пальцев. Вскоре после этого пришел Главный и объявил ей, что она взрослая. А няня сказала: Ивонна, голубка, теперь тебя в любой миг ушлют отсюда в замуж. Наверное, в туда ее теперь и отсылали.

За доктором вошли еще другие. Но те остались стоять у дверей, а только доктор и еще один приблизились. Второй держал в руках планшет и сразу в него уткнулся, и локоть его стал скакать и ерзать вверх-вниз. А руки видно не было. Доктор стал вокруг нее перемещаться по круговой. Осматривал и надиктовывал тому, кто скакал локтем за планшетом. Доктор поднимал ей руку, потом другую. Наблюдал везде и тому с локтем произносил, где у нее какие отличительные признаки и родинки. Она не двигалась. Было нельзя. Смотрела прямо перед собой, туда, где ничего и ничего не было. Даже когда ее купали, нельзя было смотреть в воду на отражение. Запрещалось. Она, конечно, могла бы быстро, незаметно взглянуть, но было незачем. Водить тайно языком по зубам нравилось больше. Было еще несколько штук, которые она научилась проделывать втайне.

Доктор продиктовал, что под левой мышкой было пятно величиной с просяное, цвета корицы. И на левой же лопатке покрупнее и темное. И на щеке, на правой. Еще что-то продиктовал про капиллус венерис.

Потом они ушли. Пришла няня. Опять ее одела, охая и чмокая толстыми губами, брызжа на нее слюной и лупясь красными глазами. Потом стала себе глаза эти тереть.

— Ну на кого я похожа, старая дура.

Вот вопрос. На кого няня похожа. Лицом, конечно, на перезревшее яблоко, забытое на ветке. А походкой на ворону за окном. А она сама на кого похожа? Кроме няни и арапок, других женщин в замке не было. По крайней мере, она никогда их не видела. Она чуть было не спросила у няни, правда ли, что ее

отправляют в замуж, но спохватилась. Это запрещалось. Да и к чему? Разве знать что-то заранее было зачем-нибудь нужно. Разве это что-то могло изменить.

Постучали и вошли.

Это был шут и другие, оставшиеся стоять у двери. Няня ушла. Когда приходил шут, та всегда уходила. Шут приходил каждый день, или почти. Он строил морды и гримасы почище, чем няня, звенел бубенцом и кувыркался. Она сидела в кресле с прямой спиной и смотрела, но не на него, а немного повыше. Главное было — пока он так представлялся, глядя на него — не растягивать лица и не гримасничать вслед за ним. Это было непросто. Облокачиваться также не разрешалось. Он что-то говорил, но она не слушала. Это она тоже умела: слушать и не слышать. Не то, что смотреть. Куда она смотрит, было заметно. Но она умела смотреть и не видеть. Потом все ушли. Осталась одна арапка лежать на полу у двери.

Она подошла к клетке Чибиса Второго. Чибис Первый исчез прошлым летом. Было жарко. Она тогда вошла в комнату и сразу заметила, что клетка пуста. Ей ничего не сказали. А на другой день в клетке появился Чибис Второй. Она догадалась, что это был новый, другой Чибис. Но остальные, даже няня, которой все разрешалось, сделали вид, что это был тот же Чибис, что и прежний. Хотя очевидность подмены бросалась в глаза. У нового были зеленые лапы, голова гораздо больше, и глаз смотрел не так, как у прежнего. Так что только она называла его про себя Чибисом Вторым, а все остальные вообще никак не называли. Что про все это знала и думала няня? Она ли сама подменила или кто другой? Чибис Второй посмотрел на нее своим ягодным

ядовитым глазом, поднял ту лапу, что была поближе, потряс ею и стал чесаться, точно так же, как и прежний.

Что сделалось с Чибисом Первым? Куда он только подевался. Как незаметно подменил его Чибис Второй. И можно ли было так же подменять людей, одного на другого, даже не предупреждая заранее. Вот ведь когда прежний шут пропал из замка, испарился со своим куафом и чулком, его заменили на такого же, с чулком и куафом. А что если вдруг сам Главный пропадет. А вдруг его тоже подменят? И будут так же при его появлении на людях произносить весь список его названий, начинающийся с Главного, а дальше она не слушала. Подмену одного шута на другого, такого же на похожего, все же сразу стало видно. Хоть бы по разнице носов. Хотя посмотрела она быстро. Когда он при ней шутил, она на него не смотрела, смеяться же не разрешалось. А няню если вдруг подменят? А если и ее саму подменят? Нет, вот это как раз было невозможно. Она ведь была такая одна. Не такая — такая, как няня или попугай, или как шут с чулком. Не такая отдельно. А такая в целом, вообще, по рангу — такой расы. Такой крови. К ней одной обращались на Ваше и Ее, ее одну показывали, одевали и раздевали при всех, раздвигали ноги и трогали, потому что среди тех, кто ее окружал, никого не было такого, чтобы был такой, как она. Кто находился бы на такой же высоте. Вне досягаемости. Равных ей не было. Все остальные были ниже. Никого не было, кому столько же всего было бы нельзя. Чей бы любой жест и движение, даже губ и бровей, столько бы всего означали.

Существовал ли где-нибудь, далеко, еще кто-то, кто был такой же крови? Такой же как она не-такой.